

ЕЛЕНА АЖНАКИНА



ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ

РАССКАЗЫ

ПОРТРЕТ НА СТЕНЕ

Без малого семьдесят лет провисел на стене портрет в старом кирпичном доме. Несколько поколений некогда большой семьи смотрели в глаза сначала взрослому и очень грустному незнакомцу, потом, по мере того как росли, — совсем юному мальчику лет семнадцати.

Портретная фотография чёрно-белая середины тридцатых годов прошлого века; рамка тяжёлая деревянная, грубо сколочена ржавыми гвоздями, выкрашена в зелёный цвет ядрёной масляной краской. Красили всегда, как только делали ремонт, — в цвет потолков, наносили несколько слоёв, отчего рамка казалась ещё массивнее и важнее. Стекло у неё тоже тяжёлое — оконное, и сквозь него по углам проступали вырезанные из старых поздравительных открыток цветочки. Из оборотной стороны этих открыток, как из пазлов, можно сложить историю семьи: вот третья дочь Лида пишет из Прибалтики родителям, счастливая, считай, что за границей побывала, привет передаёт Нине и Саше. В семье родилось шестеро детей, все выросли, ни один не умер в младенчестве, как это часто случалось в крестьянских семьях в первой половине двадцатого века.

Застывший в портретной рамке молодой человек одет в простой костюм с галстуком, а на голове красуется огромный нелепый кепарь. В 30-е годы расхожий головной убор и у сельчан, и у правящей верхушки. Все магазины были завалены подобными пролетарскими кепками-восьмиклинками,

АЖНАКИНА Елена Николаевна родилась в 1978 году в Пензе. Закончила Московский государственный университет культуры и искусств. Организатор культурно-массовых мероприятий. Живет в Одинцово Московской области.

а при заказе костюма в ателье закройщик всенепременно спросил бы: “С кепочкой? Или без?” В таких кепарях парни щеголяли даже в лютой мороз.

Фотокарточка переложена газетой “Пионерская правда” 1958 года выпуска, а край первой полосы оторван дедом Васей на самокрутку. Несмотря на застуженные на войне лёгкие, курил он до последнего, до своего последнего 1971 года. “Правда” эта уже давно истлела, на ощупь казалась хрупкой и шершавой, и от этой слежавшейся газетины пахло историей так, что аж нос щипало и на глазах выступали слёзы.

Портрет висел на стене не один, дед Вася тоже висел, только молодой — в солдатской гимнастёрке и пилотке с красной звездой. В точно такой же крестьянской почётной рамке, которой удостаивались только фронтовики в этом доме. Деду нашему повезло, в декабре 41-го, когда его сложили вместе с трупами в разрушенном храме под Москвой. Господь послал женщину, которая слышала, как стонет уже воскресший, но ещё не примёрзший к другим бездыханным телам раб Божий Василий. И наш дед вернулся домой в родную деревню с повисшей на бинтах нерабочей, но всё ж таки рукой.

Дому, в котором висел портрет, сейчас уже более ста лет. Построен он ещё в самом начале XX века в деревне Марфино Михайловской волости Мокшанского уезда Пензенской губернии, во время строительства Казанского храма, в пятидесяти метрах от него. Сейчас от деревни почти ничего не осталось, а в те годы в округе возводили много подобных храмов и домов из красного кирпича. Наш Казанский сооружён на пожертвования Иоанна Кронштадтского. Кирпича завезли достаточно и, чем выше рос храм, тем больше в деревне появлялось красных домов, как из ларца, одинаковых с лица.

Этот дом мне часто снится. Снится, как я укрываюсь в нём, прячусь за его толстыми кирпичными стенами, наглухо закрываю двери, окна, ставни, а вокруг бушует стихия. И вот однажды такая стихия воплотилась наяву.

2010 год, век высоких технологий, инноваций и возможностей. В то лето стояла страшная жара: в тени доходило до сорока шести градусов по Цельсию. Горели леса, поля, торфяники на болотах. Горела почти вся Россия. Дым над отечеством стоял до середины сентября. Трудно вдохнуть, ещё труднее выдохнуть. Я аллергик. Кинулись за кондиционером — всё давно продано, поздно спохватились. В надежде на спасение пришлось срочно эвакуироваться с шестимесячным ребёнком из Москвы на малую родину, как оказалось, из огня да в полымя: в пензенской квартире градусник безжалостно держался на отметке тридцать три даже ночью. Силы были на исходе: сосуды в глазах лопались, гортань отекала. Женька мой, весь мокрый и распаренный, дышал тяжело и жалобно куксился.

И тут я опомнилась. Как же я могла забыть про него — дом, старый дом мой с портретом на стене, скорее укрыться за его могучими стенами!

Всё лето мы благополучно просидели в нашем столетнем бункере. Чудесным образом обжигающий смог обходил нас стороной, это был оазис в раскалённой бездыханной пустыне, потому как, отъехав всего на каких-то несколько километров, мы вновь оказывались в густом тумане гари. Несмотря на неустроенность быта, на отсутствие воды (мыльная горькая вода в колонке появлялась только вечером на два часа), мы радовались свежему хрустально-чистому воздуху, пряному запаху ила с реки. Ночью, уютно устроившись под открытым небом на старинной железной кровати, под стрекотание сверчков считали с сыном звёздочки, укрываясь стёганым одеялом, дабы не замёрзнуть. Мы пребывали в раю. И казалось, что не лунный свет, а сотни неоновых огней проникают сквозь дыры в обшивке куполов нависшего над нами остова каменного храма, создавая искусственную подсветку, причудливо и торжественно обволакивая сиянием образ нерушимой веры, стойко ждущей восстановления и возрождения русской деревни. Наш дом остывал рядом с нами, чтобы утром вновь принять своих постояльцев в прохладные объятия. На рассвете мы погружались в уникальную атмосферу неподвижного центра мироздания, защищающую нас от поражающего воздействия Солнца. И тогда всерьёз казалось, что Аристотель всё-таки прав.

Достоинно сражался за право на жизнь все эти годы храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Помню, как меня, совсем маленькую девчущку

лет пяти, мать посадила в открытые ворота и закинула на сеновал: очень уж мне хотелось посмотреть, что там внутри. В те годы храм набивали сеном чуть ли не до краёв. Карабкаясь по колким тёплым прутикам под их аппетитное шуршание и вдыхая пыль вперемешку с душистым запахом высушенной травы, я забиралась всё выше и выше. И вот я уже стою на вершине огромной копны! Поднимаю голову, оглядываюсь по сторонами... дыхание перехватывает. От оживающих фресок, сохранившихся на стенах и куполе в первозданном виде, от навалившейся на меня всей мощи высоты святыни и внезапно нахлынувшей благодати я не устояла на ногах и бухнулась обратно в сено. Где это я? В гулкой тишине храма, преломляясь и мерцая в лучах проникающего света, хаотично витали крохотные пылинки, предвосхищая нереальность происходящего. И только голос матери смог вернуть меня в настоящее:

— Посмотрела? И хватит! — Немного подождав, уже обеспокоенно и строго: — Спускайся, там нельзя долго находиться!

Я и не заметила, как проворно соскользнула с сеновала в руки матери, так и не успев понять, зачем заваливают травой такую красоту. Больше залезть туда не разрешили.

Через какое-то время я набралась смелости повторить попытку.

— А почему нельзя на сено-то? — донимала я близких, меня очень тянуло ещё раз там побывать, и каждый день я нарезала круги возле диковинного сеновала, пытаюсь рассмотреть в заваленных сеном-соломой окнах поразившие великолепием и необычностью картины. Я уже разузнала, что там Бог, Богородица, святые, но искренне не понимала своим детским советским умишком, зачем их заточили на пыльном складе с сушёной травой и кому от этого польза вышла.

— Не надо туда зазря лазать, грех это. А в алтаре наверху сено принимают тока девки малые да робята. Мужики-то ток снизу подают. А нам, бабам, в алтарь нельзя. И ты не лазь! Нечего баловать! — протараторила соседка с чувством выполненного долга, громко шмыгнув носом и высоко задрав голову в сторону колокольни.

И вот стоит сейчас наш храм — сирота казанская, больно смотреть. Сено давно уж в нём не хранят, колхоза нет, внутри почистили всё, но и прихода нет. Старики, приезжая из города, горюют:

— Ты знаешь, какая больша деревня была? Э-э-э... Ругались, дрались, песни пели, гуляли по улице вечером с гармошкой. М-м-м... Сколько народу было! Ты и не знаешь! Стенка на стенку ходили, да-а, — кивает и убедительно так заглядывает в глаза, пытается уловить мою реакцию, вместе с тем удивить и, размахивая руками, продолжает: — Сырцовка на Храмовку, один конец деревни на другой, билась как, у-ух! — улыбается и задиристо потрясывает головой. — Приезжие, фронтовики, гудело всё, пахали, сеяли, в уборочную не спали вовсе. Эх, а теперь тишина... Успокоились все, лежат вон полёживают...

Да, народу раньше собиралось много. На открытие храма в 1909 году со всех волостей гости понаехали, почитай, несколько тысяч. Колокола звонят, кипит площадь перед храмом, все троекратно целуются, поздравляют друг друга с праздником. Радость-то какая!

Совсем недолго он радовал прихожан, наш храм. Ещё не успела высохнуть сырая штукатурка под последней расписанной фреской, как его уже и закрыли, ещё в начале 20-х.

Времена менялись, демографическая кривая, словно прогулочная баржа, поплыла вниз по течению, минуя причалы “Поволжский голод”, “Коллективизация”, деревня “Раскулаченная”, “Индустриализация”, артель “Красный террор”, колхоз имени Великой Отечественной войны, высаживая своих пассажиров от мала до велика на этих остановках, пока не показалась конечная пристань 1959 года, на которой сошла только треть жителей некогда зажиточной и шумной деревни. Всесоюзная перепись населения в тот год в деревне Марфино показала естественную человеческую убыль в размере целой тысячи советских граждан.

Дом за это время много раз переходил из рук в руки, пока в пятидесятые дед с бабушкой не выкупили его за трудовни у колхоза, тогда-то и появился на стене в передней избе этот загадочный портрет.

Лет в шесть, уже в середине восьмидесятых, ещё при жизни бабушки я как-то спросила, указывая на стену малюсеньким пальчиком с большущим заусенцем:

— А это кто?

— Это дядька, погиб на войне, — поспешно выпалила тётя Лида.

А бабушка так ничего и не сказала, она уже мало что помнила, почти не узнавала окружающих и лишь изредка постукивала по полу засаленным батожком. Сидела на кровати смиренно и молча, придавленная прошлым, словно неподъёмное ведро с цементом, выпавшее из рук после войны на стройке телятника, раздробило ей не ногу, а всю её крестьянскую жизнь.

Дядька... От вырвавшейся наружу портретной подноготной мне стало вдруг зябко и страшно. Дядька...

“Дядька” поначалу мешал мне своим постоянным присутствием, всё время косился чёрно-белыми выпцветшими глазами, следил за мной.

Однажды мы с ребятами играли в школу, и я умыкнула важную записную книжку с телефонными номерами, опрометчиво превратив её в классный журнал. Что тут началось! Меня ругали несколько дней, а точнее — целых три дня! Виноватой я себя, конечно, не чувствовала, дерзила в ответ и пряталась в курятнике вместе со своими учениками. Цыплята внимательно слушали мои уроки, попискивали у доски, получали вкусные пшённые оценки, а самое главное — очень уважали своего учителя, в отличие от взрослых. И только всё тот же неотступный взгляд, непостижимым для меня образом проникая даже через толстую кирпичную стену, так укоряющее сверлил меня в те лихие три дня, что мне становилось не по-детски стыдно за испорченную книжку, да так сильно, что я не решалась войти внутрь дома и все эти дни кочевала по деревне, ночуя у соседской девчонки Юльки.

Юльку совсем недавно забодала пырякая корова по кличке Королева. Прижала её к забору, мычала недуром, как будто хотела вымычать всю свою королевскую дурь, держала долго и нагло в своём рогатом плену, пока деревенские мужики вилами не отогнали пырякую прочь. После этого случая Юлька стала сильно заикаться.

Взяв с собой в качестве подкрепления познавшую тяготы коровьей войны подружку, через три дня я всё-таки осмелилась войти в дом с портретом на стене и попросить прощения у взрослых за содеянное.

Но через какое-то время “дядька” примелькался, и я научилась не замечать его. Я к нему привыкла, как привыкают к любому декоративному украшению на стене. И все вокруг так свыклись с ним, что даже после смерти бабушки, после того как сделали современный ремонт, его опять водрузили на своё законное место.

И вот в 2017 году невестка всё-таки сняла нашего “дядьку” и закинула на печку. Обычно там заканчивали своё существование отжившие вещи: ношенные валенки, угольный утюг, знаменитый ковёр с оленями (почти новый), плетёные корзины и прочий хлам.

Захожу в переднюю избу — нет портрета! И оборвалось! Лопнула связующая ниточка, лопнула звонко, мощно, до боли, уши заложило, глаза заволокла постыдная плёнка, и внутри зазвучал голос Владимира Златоустовского: “От героев былых времён не осталось порой имён...”

Впервые за эти долгие годы мне захотелось узнать, как же зовут нашего молчаливого “дядьку”, с которым не одно поколение играло в переглядки. Но это оказалось не так-то просто. Семьдесят лет прожил портрет на стене нашего дома. Портрет человека, отдавшего жизнь за людей в этом доме, и никто не помнит его имени. Удалось раскопать в памяти близких и поднять на поверхность солдатский медальон, пролежавший столько лет под тёмной толщей забвения. Из-за плохой сохранности содержимого восстановить имя бойца не представлялось возможным. Отчётливо проявилась только одна деталь, указывающая на то, что это брат бабушки Ани. А зовут его,

скорее всего, Павел или Степан, но никто уже не уверен, так как бабушка упоминала ещё какого-то Андрея — сводного брата, может, это он и есть ...

Нет, решила я, герою — быть! И вот началась моя поисковая эпопея длиною в три года. Я искала его, искала долго. И никакого другого деда роднее этого “дядьки” для меня не существовало! Я ему обещала, что обязательно его найду!

Подумаешь, каких-то несколько месяцев дум и ожиданий в порядке живой очереди, состоящей из желающих заглянуть по ту сторону бездны! И вот у меня в руках искомые послания из царской России, на редкость хорошо сохранившиеся в архиве Пензенской духовной консистории. Да ещё несколько дней ушло на преодоление страниц необычного туристического маршрута в прошлое. Как турист-новичок, сначала то и дело останавливалась возле каждой достопримечательности. Ну, как пройти мимо таинства рождения и крещения лиц мужеска и женска пола своих предков?

Конечно же, в пути встретилась со своей новорождённой бабушкой, за-улыбалась, только мы немного поменялись с ней местами, и уже не я — маленькая и любопытная, а она — смешная и чумазая мусолит печатный пряник, подаренный местным купцом в день празднования Обретения иконы Божией матери “Споручница грешных”. Отменное вышло путешествие: столько знакомых фамилий и судеб промелькнуло мимо окна моего воображаемого туристического автобуса.

И вот уверенной рукой я перелистнула очередную страницу реестра Российской империи. Время замерло вместе со мной, а потом резко сорвалось с места и побежало меня догонять, настолько быстро, буквально на лету, я выхватила из небытия запись, старательно выведенную изумительно красивым почерком на писчей бумаге царской эпохи. Отодвинув фолиант подальше за ненадобностью, я закрыла глаза и смиренно опустила голову в ладони. Больше он мне не нужен, на опущенном экране век чётко, чёрными чернилами на фоне пожелтевшего пергамента проявились прописные буквы:

“Из метрической книги за 1917 г., часть первая “О родившихся”: Месяц и день рождения/крещения: июль, 11/12. Имена родившихся: Стефан. Родители: рядовой Фаддей Дмитриев Сиротин и законная жена его Софья Романова, оба православного вероисповедания. Совершал таинство крещения: Священник Иоанн Беляев с диаконом Петром Пановским”.

— Нашла? — тронув меня за плечо и довольно улыгнувшись, оторвала меня от виртуального метрического полотна архивный работник. Я даже не заметила, как она подошла.

— Нашла...

Единственный родной брат бабушки — Сиротин Степан Фаддеевич — родился ровно сто лет назад от того дня, как сняли его портрет. Я его нашла! Теперь-то я знаю, что он не настенный музейный экспонат, а реально существовавший человек, который ходил по этой же земле, дышал этим же воздухом, купался в той же речке, из которой мы на прошлой неделе выудили трёх ельцов и одного ёршика. Сколько их таких, безродных, кануло в мутную и глубокую воду другой реки забвения? С подобными мыслями я и ринулась искать по городам и весям живых свидетелей — дальних родственников и знакомых, — кто мог хоть чуточку пролить свет на судьбу моего портретного долгожителя с чудесным именем в крещении Стефан, чья фотография лежит сейчас в тесном чулане и покорно ждёт своей незавидной участи. За это время с печки его уже успели переместить, а это очень дурной знак! Времени осталось совсем мало. Я-то хорошо помнила, как, вскапывая огород на месте заросшей мусорки 70-х годов, дачники то и дело натывались на домашнюю утварь, ордена и медали. Зная, что я собираю старинные монеты и пуговицы, которыми была щедро усеяна деревенская земля до того, как её перепахали чернокопатели, наугад приносили мне — “не пойму, что нашла” — боевые “За отвагу”, “За победу над Германией”. И хотя в этом месте не гремела война, мальчишки не проваливались в каски, купаясь в речке, не подрывались на минах, не мечтали найти немецкое оружие в заросших траншеях, линия фронта проходила выжженной чертой через каждую семью.

Один сельский учитель чего стоил, у него имелась в наличии своя передовая — новая школа на пять сёл в округе.

— Садись, болван, единица! — чеканил Алексей Семёныч насупившемуся босому прогульщику, в кои-то веки заявившемуся в классе, да и то по причине промокших валенок.

Привычное дело, ученики форсировали реку, лёд проломился, неудачник — раз-два, и уже на берегу с ноги на ногу переминается, а валенки так и остались стоять в полынье посреди речки, застряли. Речушка в Банном узенькая, мелкая, но попробуй перейди по тонкому льду. Паренёк испугался, да не за себя — за валенки, батя точно убьёт, домой лучше не возвращаться. Шлёпает грузными от воды шерстяными носками на берегу, глянцевый наст под ним хрустит, плечи ходуном ходят, носом шмыгает от досады. Тут сразу и тяга к знаниям поманила натопленной голландкой в классе, как на урок не пойдешь — помчишься! Бесценную обувь доставали всей гурьбой, кто корягой пытался подцепить, кто ползком до них добраться. Наконец выудили, понеслись растерянные в школу греться. А шли-то картошку на костре печь, пересидеть уроки в ближайшей ложбинке. Так день за днём и учились. Налопаются печёной картошки вдоволь, сажей от угольной корки картофельной вся физиономия перепачкана; накатаются чумазы на портфелях и ледянках из литого навоза, штаны и рукава фуфайки колом стоят, заиндевели от снега, щёки пылают — морозцем прихватило, пар валит из-за шворота. Как только последний звонок протрещит, так стайкой и разлетаются по своим скворечникам. А до дома пять километров по заснеженным полям напрямки да через реку. Пока доберутся, уже стемнеет, зуб на зуб не попадает, подмёрзли сорванцы. Обметут снег метёлкой на крыльце кое-как и в натопленное логово занырнут. В задней избе окоченевшую одежду на веревке развешат поближе к печке, а сами прыг на прогретые кирпичи, затаились птенцы. Тут и наледь на ватниках от неожиданного тепла разморило: таять студёная начала, вода ручьём стекает, словно весну приближает.

Ни на одного ученика не повысил голос Алексей Семёныч — строгий, спокойный и рассудительный, ничем не выделяющийся на фоне других, в общем, самый обычный педагог. Но незримо ощущался в этом учительствующем обывателе такой несгибаемый стержень, что даже самые отъявленные оболтусы его шибко уважали и втайне побаивались. Лишь через много лет выяснится, что простой сельский учитель отличился на фронте бесстрашием и мужеством: одним из первых врвался в окопы противника, сумел выжить в рукопашных боях, получил пять боевых орденов и две медали, а также был представлен к высшей награде — “Герой Советского Союза”. Особой статьёй в судьбе офицера стали два побега из концлагеря, по причине пребывания в которых “Героя” в итоге ему так и не дали.

Ничего этого не знали тысячи школьников: и отличников, и тех самых лоботрясов, сушивших утопленные валенки под неторопливые лекции учителя-фронтовика. А он продолжал по-отечески вкладывать в них знания, никого не меряя линейкой по шкале хороший-плохой. Сначала перьевыми, потом самописками и, наконец, шариковыми ручками выводил путёвки в мирную жизнь, добытую непомерно дорогой ценой, о которой вслух и говорить-то страшно. Жаждающим больших свершений выправлял характеристики в институт, а двоечникам с пониманием ставил три и отправлял учиться на шофёра или тракториста. Так и стоял на переднем крае преподавательской деятельности сорок с лишним лет, не отступая ни шагу назад. Простой деревенский учитель Алексей Семёнович Самсонов, самоотверженно сражавшийся за каждую ребячью душу. И он не забыт потомками, данные о нём можно найти в любой книге памяти.

А вот безвестная судьба моего воевавшего двоюродного деда по-прежнему находилась только в моих руках. Иногда мне приходилось вытаскивать портрет из чулана, тяжёлый, прямо в рамке с цветочками тащить с собой в другой город на опознание. Родные недобро поглядывали и лезли с настойчивыми советами оставить его в покое. Но выкинуть портрет всё-таки не

решились. И он в полном одиночестве продолжал ждать меня в чулане, словно сам хотел обрести судьбу.

Важной стратегической задачей стали поиски давнишней подруги семьи, какой-то дальней-предальной родственницы. Дом её ходили искать всей гурьбой по улицам с портретом в руках и уверенностью, что скорее всего не найдём по причине давности лет. Домики послевоенной постройки, двухэтажные, последний ремонт видевшие ещё при Никитке-кукурузнике: с отвалившейся замысловатыми лаптами штукатуркой, подвижными раскошенными деревянными перилами внутри, однотипные, всё как полагается в современном посёлке городского типа нашей глубинки, не лучше и не хуже. Ребятишки и тощие дворовые собаки со всех окружающих домов перебежали от дома к дому по летним лужам, как пёстрая свита. Кто в резиновых сапогах на босу ногу, кто совсем без обуви, кто на старом, виды выдавшем велосипеде. Ничего здесь не поменялось со времён постройки этих домов, ничего. Разве только одежонка поярче да имена позаковыристей: Макар, Назар, Никанор, Нил.

Мальчишки наперебой на бегу, как футбольный мячик, подбрасывали идеи, менявшие направления поиска. Возле одного из домов собралось целое народное собрание в помощь новоявленной любительнице-археологу. Искали Валентину, лет девяноста от роду, знавшую Анну Сиротину из Марфино. Перебивая друг друга и чуть не подравшись, под галдёж, визг звонка велосипеда и невыносимый лай собак, сие народное собрание постановило, что искомая Валентина в округе не проживает. Необсуждаемая печать досады легла на чистый лист приговора: надо возвращаться назад.

Приближался жаркий поволжский полдень, очень хотелось запить холодной водой свершившуюся и заведомо предсказуемую неудачу. Посадив Степана Фаддеевича на заднее сиденье машины, я побрела в ближайший магазинчик. Мой многоголосый кортеж разбрёлся по домам обедать, и я заблудилась во дворах. Петляя тенистыми тропками между обшарпанных домов, увидела старушку в ситцевом платке. Сидела она в тени старой раскидистой берёзы на самодельной лавочке из перевернутых дырявых вёдер и наложенного сверху тряпья. Подошла к ней спросить дорогу. И вдруг у меня вырвалось:

— А вы не знаете случайно Валентину из Марфино? Вот ищу, раньше где-то в этом районе жила, — озвучила я и обвела показательно рукой чуть ли не весь посёлок.

— Валентину? — ответил голос глубокий, с возрастной одышкой. — Я — Валентина, в Марфино жила по молодости, а ты кто будешь? Тебе кто нужен-то? — болезненно оживилась и подалась вперёд, но встать так и не смогла.

Вот так удача! Я сразу поняла, что это она, даже пить расхотелось. Вновь ожила робкая надежда зачерпнуть любопытным ковшиком света из ведёрка памяти и плеснуть на скрытое прошлое! А вот старушка не сразу поняла, кто я и зачем явилась по её душу.

— Вы знали Анну Сиротину из Марфино, это моя бабушка? Она давно умерла, ещё в 86-м, — стараясь говорить громко и разборчиво, целясь прямо в ухо, я декламировала приготовленный ещё накануне текст.

— Не-е-ет, Анну не помню, Анны у нас не было. Давно уж это было. Никакую Анну не знаю, — и уверенно помотала головой.

— Ну, у неё ещё муж Василий с войны вернулся с перебитой рукой, мне сказали, что вы дружили. Анна, Панина по мужу, ну, как же так, не помните?

Тут до меня дошло, что приняла желаемое за действительное. Горло окончательно пересохло, голос осип, и тихо так:

— Извините тогда, а как в магазин пройти?

— А-а-а, Нюра, Нюра-внучка! Как же не помню, всё я помню, — обиженно заворчала моя благодетельница.

Тут меня и прорвало, выложила всё как на духу. Я помогла Валентине встать, она уже больше часа сидела на улице, никак не могла подняться, ноги не держали, ждала соседку с рынка, а дождалась непрошеную гостью.

Потребовалось немало усилий, чтобы помочь довести её до двери квартир-ки на первом этаже. Я расспрашивала про Ньюру-внучку, как она называла мою бабушку, и её брата, а она в ответ изливала мне свою горечь. Валентина неторопливо поведала, что давным-давно живёт одна, муж умер, из родных у неё никого не осталось, детей похоронила ещё в начале 90-х. Сын пал жертвой алкоголизма, а дочь пропала без вести на заработках в Москве. Типичный сюжет для русской сельской провинции, болезненный и шокирующий до жути.

Она заботливо гладила меня по руке, рассказывала всё в подробностях, стараясь ничего не упустить. Не веря своему счастью, что кто-то вспомнил о её существовании и она на старости лет оказалась в эпицентре важнейших исторических событий. Пригласила зайти в гости, но я отказалась. По румянцу на щеках поняла, что нужно по-тихому уходить, а просмотр семейного альбома может обернуться для неё сердечным приступом. Поблагодарив и успокоив не в меру разволновавшуюся Валентину, пообещав навестить в ближайшее время, я вышла на солнышко из плохо освещённого подъезда, растерянно размышляя о том, кто из нас на кого плеснул свет в итоге. Наплекались обоюдно и вдоволь.

Моя бесценная свидетельница поведала, что Ньюра и её младший брат Степан остались сиротами, отец Фаддей погиб в Первую мировую, мать Софья умерла от глоточной в 1922 году, а они пошли в люди. Отсюда и Ньюра-внучка, жила сызмальства внучкой у односельчан, нянчила ребятишек, помогала по хозяйству, младшего брата таскала везде с собой. Так и выжидали, перебираясь из дома в дом, соседи подкармливали, давали кров. Затем оба работали в колхозе, бабушка вышла замуж, а Степана забрали служить в армию. Вскоре грянула война, Степан прошёл всю войну, семью не успел завести — спасал мир от фашистской заразы. А летом 45-го прислал письмо сестре, единственному родному человеку, с ближайшей станции, где случился проездом, написал, что домой не приедет. Он служил танкистом. Война давно закончилась, наши победили, а от брата не приходило никакой весточки. Безграмотная бабушка, как могла, писала запросы, ждала и очень горевала. А в семидесятые записала его большими печатными буквами в памятник как без вести пропавшего.

Ворвавшись в дом с открытием поистине космического масштаба, я вздохнула, запинаясь чуть ли не на каждом слове, докладывала о результатах поездки. Вытряхивая из недр своей дорожной котомки даты и факты, торопилась вывалить на стол семейной памяти свою главную добычу — частицу тайны портрета на стене. Близкие молчали. Я ходила за каждым по очереди. Как заезженная пластинка, воспроизводила снова и снова записанную в подсознании звуковую дорожку, а они занимались своими делами и никак не реагировали на мой торжественный марш с барабанной дробью. Вскоре пластинка, смешно заикаясь и подпрыгивая, издала последний жалобный визг, зашипела и сошла на нет. В доме воцарилась напряжённая, почти театральная тишина: открылось, что с таким трудом по крупицам собранная бабушкина жизнь, оказывается, хорошо известна моим родственникам...

Какая такая силища-забывалища заставляет безразлично смотреть, эгоистично проходить мимо, а иногда попросту стыдиться предков? Какая животная тяга, отрывающая от своих корней, так прочно укоренилась в русских людях? Ведь сколько таких безымянных портретов мертво приколочено к позорному стволу семейного древа равнодушия. И если ничего не менять, то завтра мы сами, ныне обласканные и избалованные вниманием, окажемся на свалке времени.

Но если ещё о жизни бабушки знали, то о судьбе её младшего брата не знали ничего и знать не хотели. К чему ворошить давно минувшее, когда в настоящем дел невпроворот? Поверженная в неравном бою, я ретировалась, чтобы собрать силы для контрнаступления.

Затаившись в укромных гордыни и досады, садиться не собиралась. Прошёл целый год, по поволжской земле лёгкой поступью вновь прогуливалась июньская краса-девица в цветастом сарафане, оставляя за собой ароматный шлейф спелых ягод. И я, вдохновлённая распирающим чувством человеческого

долга вперемешку с осознанной исключительностью равнодушного потомка пропавшего без вести солдата, сунулась в архивы местного военкомата. Оказалось, что их и нет, этих архивов-то. То ли пропали, то ли уничтожили ещё чуть ли не в самую войну. Все подчистую, начиная с 1938-го по октябрь 1941 года, чтобы скрыть людские потери в первые месяцы войны. Да и область в этом местечке тогда другая гнездилась, не Пензенская. Видя мою настойчивость, в военкомате посоветовали зря не тратить время и не искать, мол, по всей России — ситуация, не ты одна такая.

Военный архивный работник так и сказал:

— Всё, приехала — Рамзай, хошь не хошь, а вылезай! — пошутил, цокнул языком и удалился восвояси.

Железная дверь душераздирающе скрипнула и захлопнулась передо мной. Отрезвляюще и бесповоротно. Мне ничего не оставалось, как сойти с намеченного маршрута и побежать по своим делам. Действительно, может они и правы: не стоит тревожить безвозвратно ушедших.

Забвение постепенно затягивало в своё неизбежное болото тлена все мои археологические раскопки. Так бы эти поиски и остались недвижимым и призрачным фантомом, если бы не мой сон. Мой связной, ловко перескочивший в ночи через бруствер, мёртвой хваткой сцепив повреждённые провода зубами, восстановил прерванную связь.

Раннее утро 4 июня 1945 года. Умиротворяюще зелёная окраина деревушки, раскинувшейся на холме недалеко от Праги, дышит полной грудью советского солдата. Небо по-хозяйски раскраивают не чёрные бомбардировщики, а самые обычные деревенские ласточки. Совсем недавно они стали возвращаться в насиженные места. Точно такие же ласточки выются и щебечут сейчас за тысячу вёрст над родной деревней.

Послевоенная пражская тишина постепенно начинает наполняться мирными знакомыми звуками. Контуженные уши ещё слабо улавливают пробирающуюся по крупницам жизнь, но чутьё безошибочно прокладывает путь к свершившемуся победному счастью. От проклюнувшегося и набирающего силу с каждым новым днём ростка мысли о возвращении в родные края и в давно позабытое детство, напрочь выжженной семью годами службы в армии, учебных сборов и безумной войны, становится страшно. Страшно, как перед боем. Совсем скоро буду дома. Дом — слово-то какое тёплое, летнее, словно блаженный сон в высокой золотистой пшенице под открытым небом в самый разгар страды. Радость летит ввысь вместе с ласточками, а потом пикирует только что родившимися строчками в израненную душу танкиста.

Ветреные степи. Солнце дикарей.

Что быть может лучше Родины моей?

Притяженья слабость. Метронома счёт.

И славянской кашей время потечёт.

Ген восточной грусти компасом внутри.

Значит, не отпустят берега Суры.

Ласточками кружим над своим гнездом.

Нужен, очень нужен и бродяге дом.

Первые стихи после 37-го года. И как доблестно и вовремя прорвались они через возведённые войной укрепления. Это победа по всем фронтам! Нужно будет обязательно по приезде не забыть про них в суматохе дел и отправить в местную газету. Ещё до службы в армии уже состоялась неудачная попытка увидеть свои вирши на страницах “Сельской правды”. С юношеской наивностью подкарауливал каждый новый номер, выхватывая его из рук почтальона, прожорливо поедая глазами типографский шрифт от заглавных букв названия до заключительной точки, и, огорошенный отсутствием знакомых строчек на печатных листах, не понимал, почему они медлят с публикацией, пока не пришло письмо с обидным отказом: “Стихи нуждаются в редакции. Не хватает литературного мастерства”. Но сейчас-то точно примут, пусть только попробуют не напечатать фронтовика-победителя!

Вдалеке показалась колонна. По дороге мимо деревушки в сторону востока движутся конница, артиллерия, вот и танки родимые пошли, больно ушибнув нутро предстоящим прощанием со своей боевой машиной. Встречай, страна! Советские воины-победители возвращаются на Родину, домой.

Пока до нашей 6-й гвардейской танковой очередь дойдёт, уж август будет... Точно уже понятно, что не успеем такими темпами к уборочной вернуться. Как там они одни справляются, ведь и до войны трактористы ценились на вес золота. Надо бы в этом парадном шествии земляка найти, письмо передать сестре. Нет, не буду. Лучше нагрянуть неожиданно, с фанфарами, по всему селу пройтись, и медаль для этого дела имеется. Колонна подняла знатную пылицу, которую ветер сносил в направлении деревни. Всех ласточек распугали, торопятся, бродяги. Сегодня будет тепло, хорошо бы искупаться.

Экипаж машины боевой вальяжно развалился на пригорке, довольно прищурив глаза от яркого света, греется на солнышке и изучает свежее, только что привезённое печатное издание.

— Когда солнце над Токио, лучи его должны освещать всю великую Японскую империю до Урала, — по слогам вслух заряжающий Коля с хрипотцой в голосе читает газету “Фронт”, попыхивая папироской, зажатой в чёрных зубах, и, не поднимая глаз, комментирует прочитанное, — ишь ты, обнаглели вконец япошки. Старший сержант, глянь, что япошки удумали, неужто и вправду не успокоятся? — Коля громко стучит пальцем по сложенной пополам газете и показывает вывернутую страницу подошедшему к этой дружной компании Степану.

— Ничего, мы их успокоим! — бодро вклинивается в разговор наводчик Серёга Воробей.

— Вот ты иди и успокаивай, а я домой хочу, к детям, к жене, скоро сено косить надо! — Николай передаёт газету в руки командира, многозначительно вдавливая папироску в каблук сверкающего кирзача, сладко потягивается и кричит от удовольствия.

— ...провокации на дальневосточных границах, несколько судов наших арестовали, мрази! — продолжает, перехвативший эстафету командир танка, он же наводчик Серёга.

Н-да, никому не нравится эта кричащая передовица, да ещё неутомимый политрук все уши прожужжал в последние две недели пропагандой против агрессии японских гитлеровцев, каждый день сыплет и сыплет про военно-политическую обстановку на Дальнем Востоке, как будто мы не знаем. Там же у нас целая армия стоит, правда, необстрелянная. Придётся кому-то из наших ветеранов помогать этим желторотикам, кому-то не повезёт... Кто — куда, а мы домой, хватит, досыта нахлебались на всю оставшуюся жизнь.

Свершилось! На сборы дали один час. Даже и не думали, что свою победную “Бетушку” придётся здесь оставить. Провожали всем составом в соседнюю танковую бригаду, даже всплакнули напоследок. По прибытии на Родину в дислокацию части командование пообещало выдать нашей бригаде новые “тридцатьчетвёрки”. Ребята начали шутить, что не иначе как на парад на новых Т-34 собираемся. Дурные мысли никто даже близко к себе не подпускал в те незапамятные деньки.

Вот и теплушка. Давненько не бывал в её ласковых объятиях, последний раз спал мертвецким сном в ней, когда возвращался в расположение своих войск после тяжёлого ранения под Прохоровкой. А так, если подумать, то получается, что до самой Праги из боевых машин и не высовывался. Вплоть до 45-го только танки менялись, четыре раза горел, но успевал выбираться из подбитых машин почти целый, почти невредимый. Последний раз в Вене на мосту прищучили, тогда повезло — весь экипаж выжил.

В теплушке всё-таки добротнее и просторнее, чем в железной коробке, хоть и набилось прилично, человек сорок танкистов точно будет. Лица у всех огрубевшие, закопчённые, опалённые огнём войны, сейчас же светятся счастьем — лампу зажигать не нужно. Нары рядами в два яруса и времени вагон, но спать совсем не хочется, несмотря на вековую усталость. Дымок папирос стихийно клубится, в каждом вагоне не замолкает гармошка. Сысь, гармонист, сысь! Победители едут! До границы всего-то ничего, завтра уже

будем на родной земле. Сколько лет ползли на брюхе по такой грязище, всю Европу животом отмерили, а сейчас со свистом пролетаем, ничего не разглядеть, даже обидно.

Ночью пересекли границу с Белоруссией, фронтовики ждали, не ложились спать, притихли — курили одну за другой молча. Не сговариваясь, устроили незапланированную минуту молчания в память о зверски замученных фашистами жителях Белой Руси. Сидели не высовываясь, словно боялись увидеть в единственном целом окошке тени растерзанных и непокорённых. Однако жизнь за дребезжающим стеклом утеплённого товарного поезда невероятными усилиями женских рук и детских ладошек возрождалась, строилась, крепла с каждым новым днём.

Вот теперь можно и покемарить на родной земле, даже летний пьянящий воздух, залетающий в теплушку через жирные щели деревянной обивки, пахнет по-особому, по-отечески, и состав катит бережно, будто не хочет тревожить и без того измученную славянскую землю. Ещё вчера материцы солдаты, готовые перерезать горло любому сидевшему в окопе напротив, едва ступив на родную землю, превращаются снова в ласковых отцов, мужей, сыновей и братьев. Они вспоминают себя, они пытаются жить заново. За себя и за того парня!

В теплушках весь день напролёт стоит неумный гогот, бойцы хором горланят любимые песни, на станциях устраивают переплясы с пехотной дивизией, прыгнувшей с подножки только что подошедшего эшелона, братаются, меняются трофеями не глядя, а по вечерам водка и слёзы льются рекой. Раскрытые сидоры разбросаны по полу, а бессменный солист-танкист тринадцатый раз за вечер на бис исполняет: “Бьётся в тесной печурке огонь... Пой, гармоника, выюге назло...” И гармоника надывается всем смертям назло и вопреки: на-ка, выкуси, фашист! Живой! Живые! Едем, считаем бесценные вёрсты! А теперь спать. Спать. Скоро Москва.

Утренний приступ удушья нещадно сковал всё тело до испарины. Безуспешно пытаюсь остановить неумные толчки кашля, Степан осторожно сполз с лежанки. Память об июле 43-го никак не отпускала, костлявой обугленной рукой доставала и здесь, на Родине, хватала за грудки, в который раз тщетно стараясь udавить молодую, оживающую плоть. Это ничего, мокрая гимнастёрка скоро высохнет, а вот погибших ребят не вернуть никогда. Переломный момент в ходе войны — великая танковая битва, а перед глазами висит одна и та же однообразная картина: плотной завесой лоснится масляная копоть, бурлящая чёрная гарь до одури раздирает глаза и горло, в смотровом отверстии ни черта не видно, липкий едкий пот склеивает опухшие веки. Слышно только, как ревет задравленным зверем мотор, неистово клочечет. Плавится раскалённая броня. Раскаты эха танковых выстрелов бьют в набат и оглушающей волной разрывают перепонки.

Поле обширного Курского плацдарма затянато густой беспросветной пеленой дыма. Лишь дуновение ветра растаскивает куски пепла и образует световые коридоры, пригодные для короткого танкового манёвра. Только высунешься из набитого угольной ватой колпака в распоротую брешь неба, увидишь фашистский крест, кажущийся чудовищным из-за своей близости, дашь по нему залп, и назад быстрее откатываешься в дремучую мглу адского скопища машин. Через несколько метров упираешься задом в искорёженное стальное тело, и опять наугад прёшь вперед искать светлую прогалину с ползущей в ней поганой свастикой. Два раза только и высунулись, на третий — подбили. Только один и спасся, смог выбраться через люк механика-водителя. Ослеп, оглох, дышать сил нет, сознание на нуле, а фриц уже на моей броне, сука, дал очередь из автомата — прошил всё тело вдоль сверху донизу. Чудом уцелел, автоматчик межанулся и изрешетил только левую руку и ногу. Наш бой закончился на первых минутах; дальше ничего — тьма кромешная в памяти до самого медсанбата.

И вот мы в Москве. Загнали эшелоны в какие-то отстойники, вокруг ни души, сойти нельзя. Видать, не судьба увидеть столицу. После продолжительной стоянки всем стало ясно, что нашу танковую бригаду перебрасывают за Урал. Паёк выдали на целый месяц — значит, ехать долго. И тут же приказ:

пропустить 6-ю гвардейскую танковую армию вперёд всех эшелонов. Если мы так срочно кому-то спонадобились, значит, дело пахнет керосином, а если точнее, то полными баками дизельного топлива новых Т-34, заряженных для танкового марш-броска в степях Маньчжурии.

Мужики сурово загудели, стали толковать меж собой, после чего пошли к командованию хлопотать о кратковременных отпусках. Всем хотелось во что бы то ни стало если не увидеть одним глазком близких, то хотя бы передать с земляком весточку родне. Ведь ехать предстояло через всю огромную страну, терпеливо ждавшую своих героев. Степан тут же подумал о сестре.

В это трудно поверить, но при всей строгой секретности переброски войск на Дальний Восток командование шло навстречу и отпускало благонадежных фронтовиков для скоротечного налёта домой. Отпускали, конечно, не повально.

Общим голосованием выбрали смекалистого парнишку из Мокшана, у которого погибли все пять братьев на войне, а его, самого младшего в семье, призвали за полгода до победы, в самом конце 44-го. План продумали такой: Толик едет на побывку, радует отца и мать с сестрой, передаёт им три заветных письма, а они уже, в свою очередь, потом развозят их по соседним деревням и селам родственникам сослуживцев. Сам через несколько дней догоняет свою часть на литерных, благо в сторону Урала они летели многочисленными стаями с интервалом всего в один километр. Стоянки катастрофически сократили. Все волновались, как бы не проскочить ближайшую станцию, с которой Толик может быстро добраться в родные края.

Степан обмусолил грифель походного химического карандаша и, немного подумав, отрывистым резким почерком, стараясь не прослезиться от отчаянья и нахлынувшей нежности к сестре, к отчому дому, от берегов которого он ушлывал случайно отколовшейся льдиной, вывел: *“Здравствуй, родная моя сестра Нюрочка! Извини, что долго не писал. Я жив и здоров. Вы меня пока не ждите, я не приеду. Надеюсь, у вас всё хорошо. Крепко целую, твой брат Степан”*.

— Держи, земля! — протянул молоденькому отпускнику сложенный треугольником клочок бумаги. — Многого не писал, подробности пусть твои расскажут при встрече.

Испугавшийся своего неожиданного счастья, Толик из райцентра схватил третье и последнее по счёту письмо, бегло изучил написанный на нём адрес, сунул поспешно в карман гимнастёрки, застегнул пуговицу и для пущей сохранности шлёпнул сверху рукой, как сургучной печатью. Слегка дрогнувшим от радости голосом затараторил:

— Я мигом, не сомневайтесь, мои всем почту разнесут, а я догоню вас, я мигом, — звенел мальчишеский баритон рядового перед старшими товарищами.

— Вали уже к мамке, что жилы тянешь! — провожая под дружный свист, бравые танкисты спустили гонца из вагона на наспех сколоченный деревянный перрон. — Давай, дуй быстрее, да смотри, не задерживайся, а то не нагонишь!

Совсем чуть-чуть, совсем немного оставалось до родной деревни Степану. Ячменное поле, берёзовые перелески, а там за Муратовкой — рукой подать, но паровоз с протяжным хищным воем неистово гнал состав по ночной целине. Без остановок. На Дальний Восток. Сладкая надежда увидеть родимые края, которая ещё недавно уверенно хозяйничала в мыслях однопольчан хлебосольной дородной бабой, прахом рассеивалась по ветру за остервенело несущимся поездом под гремучий скрежет и лязг колёс. Стены теплушки натужно качались из стороны в сторону, безжалостно расшатывая постылые лежанки и старательно вытряхивая из пьяных спящих пассажиров последние крошки несбывшейся мечты. Победители, всклень наглотававшиеся водки и спирта своими дубовыми глотками, словно пытаясь залить пересохшие от набитых ребятами и стариками бездонные колодцы нашей великоотрадной родины, ехали мимо дома.

Степан похмельно очнулся от непривычной тишины на какой-то промежуточной станции. Светало. Он спрыгнул вниз, привычным толчком отодвинул

дверь, смазанные колёса мягко заскользили: створка подалась и впустила утреннюю отрезвляющую прохладу внутрь душного вагона — стояли в степи. Перевесившись через заградительную перекладину, равнодушно бросил взгляд на соседний вагон-платформу, там уже вовсю чадила полевая кухня. Возле котла, не жалея тяжёлой словесной артиллерии, матерился непроставшийся старшина. Кашевар собирался готовить солдатскую похлёбку на завтрак. Сплюнув сквозь зубы, Степан медленно перевёл взгляд на бескрайнюю степь. Вдруг неудержимое желание оттолкнуться от этого деревянного насеста и улететь свободной птицей в тихую безлюдную высь охватило бойца. На нарах кто-то громко болезненно застонал и заскрежетал зубами, заставив Степана сложить так не вовремя расправившиеся крылья.

Там, впереди, где эшелон туловищем извивающейся змеи застыл в чёрном изгибе, прямо над спящей её головой зловеще, как кровожадная мишень, вставал раскалённый круг солнца на бледном, почти белом полотне рассветного неба, не оставив ни единого шанса на возвращение домой.

Над приземистым сараем, рядом со старым кирпичным домом с портретом на стене, закреплён на тонкой жёрдочке раскачивающийся на ветру одинокий скворечник. И каждую весну “дачники” неизменно ждут в гости его пернатых постояльцев. Не скворцов, не воробьёв, а самых обычных деревенских ласточек. Очень переживают, когда птенцы в начале июня долго не вылетают из гнезда: не замёрзли, живы ли? В этом году май выдался холодный.

— Стёпка! Степан! Дом после холодов ещё не протоплен, полы ледяные. Стой! Куда побежал босой на улицу? Ну-ка, обуйся сейчас же!

Стёпка бежит что есть мочи от матери, замешкавшейся в поисках самых маленьких кроссовок среди множества взрослой и ребячьей обуви. Малыш приминает босыми ногами шелковистый дужок возле дома, залиvisto смеётся. Попробуй, догони мальчика! Добегает до конца огорода и кричит оттуда, указывая пальцем в высь:

— Мама, смотли, птички из домика вылетели!

Нет, не замёрзли птенцы, вон они, учатся летать, кружат над своим гнездом в мирном безоблачном небе, радуются вместе со Стёпкой.

Жизнь продолжается!

*Сердце — повесть!
В сердце — сто есть
Или тысячи могил.
Простота гудящих жил — ныне...
Чтобы камнем не застыл
Выше простыни надзвёздной
С меткой тлена — “не опознан” —
Будешь именем моим!*

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Воскресный августовский вечер. Закатное солнышко бережно обволакивает тёплым уютным пледом старинный русский город. Всюду веет благодатью. Маленькая станция Придача в черте Воронежа особенно хороша в эти минуты. Людей очень мало, рядом со мной на соседней лавочке в ожидании поезда сидят только худенькая суетливая старушка с внуком. В тени перехода спит пегаая дворняжка. Так разморило бедолагу, что непонятно, дышит она или нет. Изредка мимо неспешно проходят служащие станции, небрежно шаркая ногами по остывающему асфальту. Мальчишке на вид года четыре, упитанный, жуёт румяную булку и смешно пыхтит от удовольствия.

— Кирюша, — умоляюще говорит бабушка писклявым голоском, — смотри не испачкайся повидлом, а то родители меня заругают. Ох, я ж не знала, что она с повидлом, я бы не купила.

Она усердно начинает вытирать внуку каждую крошечку на подбородке. Он забавно морщится и отворачивается от неё. Наконец, бабушкина забота ему надоедает, и он смачно слёпает бабульку по лбу вымазанной в повидле ладошкой. Та замолкает, растерянно прячет глаза и вытирает лоб салфеткой. Кирюша виновато протягивает ей недоеденную булку. Я перевожу взгляд в сторону вокзальных часов.

Несмотря на то, что станция совсем небольшая, она является крупным пересадочным узлом на железной дороге в южном направлении. Нисколько не пожалела, что сдала билет на самолёт и поехала на поезде. По пути в Воронеж в ослепительном, идеально-чистом небе пилот умудрился провалиться в глубокую воздушную яму, тряхнуло так, что напрочь отбило желание лететь обратно.

И вот я млею вместе с каштанами от лениво уходящего зноя в предвкушении подбирающейся на цыпочках ночной прохлады. Мне есть чем заняться, я с любопытством разглядываю проходящие мимо составы. Приятным женским тембром объявляется отправление. Нижний Новгород — Адлер плавно тронулся и почучухал на море. Здорово! Мы с Кирюшей уже подружились за это время и машем рукой, провожая выглядывающих из окон ребятшек и раскрасневшихся довольных мужичков к морским просторам. Мне тоже сначала предстоит путешествие в сторону юга до Лисок, а там уже пересяду в поезд, который покатит меня в обратном направлении домой, на северо-восток.

Завтра увижу своего сынишку, а впереди маячит цветной мозаикой калейдоскопа долгожданный отпуск. Хочется петь от счастья, до чего ж хорошо!

Здесь в Воронеже пробыла-то всего недельку, а уже прижилась. Люблю этот город в зелёных кружевах! Люблю весной, когда цветут ажурные ароматные абрикосы, люблю летом, когда полуденное марево окутывает живописные улицы. Люблю!

День строителя прошёл потрясающе и невероятно весело! На поляне в лесу установили просторные шатры, каких только угощений и развлечений не приготовили местные умельцы под моим бдительным руководством. Весь день шумели бурные потоки народных гуляний. Соорудили огромный трон для победителей гонки героев, метра четыре в высоту и три в ширину, получила мечта короля. И сейчас у меня в руках помпезная королевская фотография на троне готовится стать памятным трофеем из уже вчерашнего сегодня. Солнце вальяжно удалилось на запад, презрительно кинув востоку лишь несколько изумительных минут на прощание.

Сразу же вспомнилось похожее празднование Дня строителя в Полтаве двадцать лет назад, в 1994 году. На большой лужайке, недалеко от поля доблестного Полтавского сражения, развернулось пиришественное лобное место. Надрывается оркестр, пыхтит, дымит полевая кухня, столы ломаются, все терпят, ждут вкуснейшую солдатскую кашу. Неповторимое радужное настроение парит в округе над оживлённой толпой разноцветным воздушным змеем.

Шелковицы, усыпанные сочными мясистыми ягодами, поразили нас тогда, гостей из Среднего Поволжья, своими диковинными плодами. Больше ни разу в жизни так и не удалось их попробовать. А в те дни мы, дети, буквально жили под шелковичными деревьями, срывали чёрные гигантеллы и, радостно смеясь над перепачканными рожицами друг друга, отправляли их в фиолетовые рты. Эх, когда теперь ещё доведётся побывать на берегах Ворсклы?

Умиротворяющая ночь снизошла на изнурённую жарой привокзальную площадь. Мысленно перехожу на украинский: “Дивитися, люди добрі, яка гарна ніч!” Но дивиться некому, бабулька с внуком уже уехали. Лишь томный свет фонарей да пение цикад убаюкивают моё неуёмное воображение.

И вдруг... “Скорые”, реанимация, МЧС, ещё какая-то техника. Из здания тут же повскакали работники в униформе, дежурный врач. Как много их, оказывается, пряталось под сенью вокзала, а я-то думала, что, кроме билетёра в окошке, никого и нет. В течение нескольких минут эта бригада

мечется по площади от здания к зданию с озабоченными и удрученными лицами, перевозят на что-то на тележках. Спящая собака ожила и залилась тревожным лаем, привалившись просвечивающими ребрами к решётке забора.

Тем временем новые вокзальные пришельцы в коротких перебежках роняют странные слова:

— Эшелоны, дети, носилки...

Верчу головой из стороны в сторону, пытаюсь вдушаться, понять смысл происходящего. Опять всё стихло.

Близится полночь, мой поезд следует с опозданием на десять минут. Похолодало. Поёжившись от студёной волны, решила накинуть на спину худи. Ровно в тот момент, когда должен подойти мой долгожданный, на станцию прибывает состав без каких-либо опознавательных табличек. Длинный эшелон недобро грохочет колесами, тянется медленно и настораживающе по дальней платформе. Ещё не успел остановиться, как из подъезда вокзала вырвались и бросились врассыпную по вагонам белые халаты, носилки, униформы, тележки. Застыв на обжитой белоснежной скамейке и не оборачиваясь, я затылком ловлю истушлённые обрывки фраз:

— Сухпайки успеть...

— Стоянка двенадцать минут всего...

— Первый эшелон только...

— Раненые...

— Дети...

— Перевязать...

Стало невероятно душно, и поплыли вокруг каруселью: вокзал, пегая собака, переход, эшелон. Все слилось в блестящие стальные огни фонарей перед глазами.

— Бинты...

— Тяжёлые двое в пятнадцатом вагоне...

— Снимаем с поезда...

— Из Донецка...

Вот ты и кончился, лучший день!

Не помню, как нашла свой вагон, помню только, что из всех пассажиров женщин всего две — я и проводница.

В моём купе трое мужчин. Заходит четвёртый, он явно их начальник.

— Смотрите мне, девушку не обижать!

Остальные дружно:

— Мы своих в обиду не дадим!